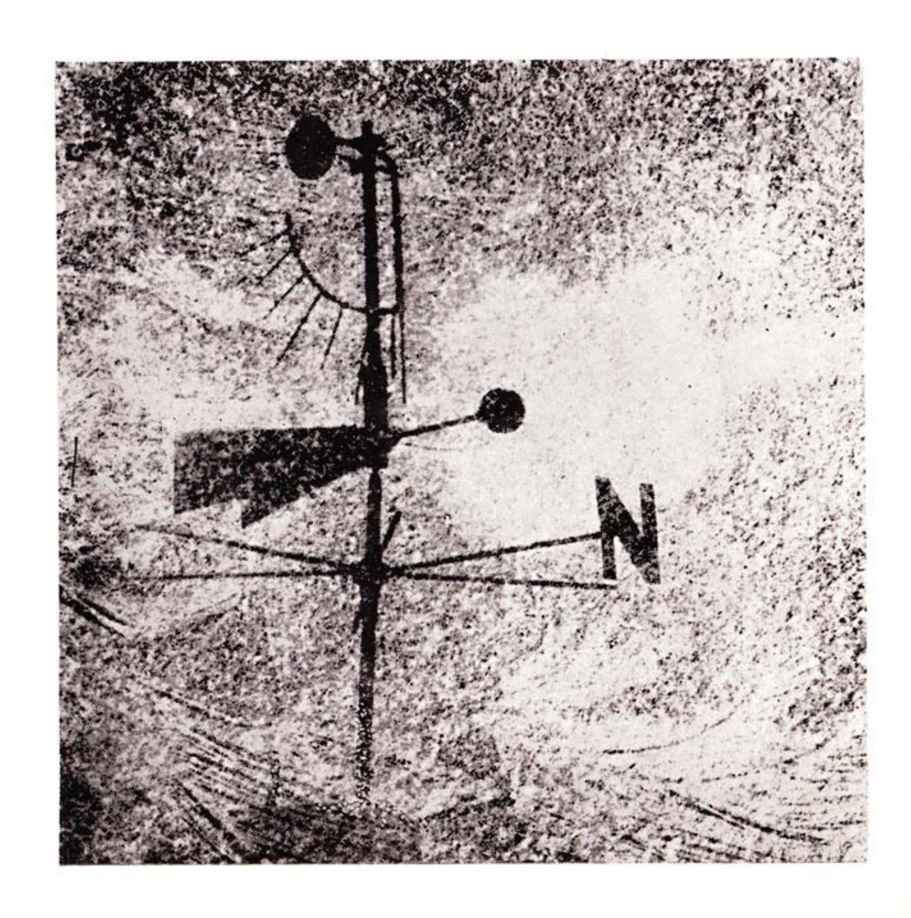
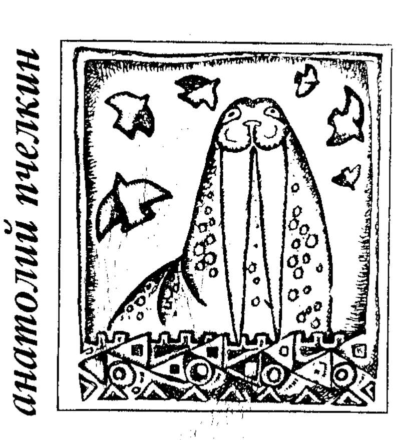
анатолий пчелкин

СВЕТ СНЕГА



анатолий пчелкин

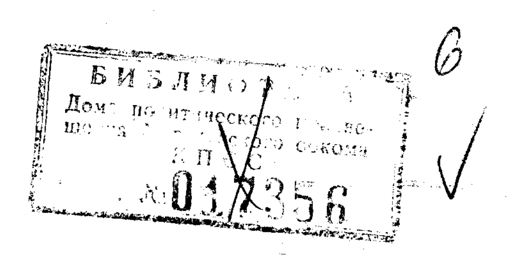


СВЕТ СНЕГА

анатолий пчелкин

свет снега

стихотворения



магаданское
книжное издательство
1972

...И если бы кузнечик малый
В зеленой замолчал пыли,
Одной бы ноты не хватало
В органной музыке земли...

Николай Сидоренко





М. Асламову

Как видно, снег
поклонника нашел.
Он шел всю ночь.
Он всю неделю шел.
Он шел весь год.
Из года в год.
И вот
тринадцатую зиму он идет.

А я не понимаю,
почему
бредут снега к порогу моему,
зачем и отчего он,
мой порог,
у ног зимы
задумчиво прилег.

И не пойму,
кто шепчет в полутьме,
зима порогу
иль порог зиме,
что нет любви
и где она — невесть,
вот разве что
привычка
в мире есть.

Привязанность
не сердца одного,
а всей судьбы,
характера всего
к тому,
что и постыло, и смешно,
да быть иначе,
в общем,
не должно.

И нет в том обреченности
ничуть.
Лишь тихий свет,
означивший твой путь
и —
болью
возвышающий в крови
привязанность
до степени
любви.

ПЕСЕНКА

Пожил чудак на острове.
Промерил все моря.
А что привез? —
Да нос в крови,
по правде говоря.
Куда ходил,
кого искал
и что в пути нашел?
Отрекся ли от поиска,
надолго ли пришел?..

Истерший ноги до крови,
избивший руки в кровь,
искал он, люди добрые,
великую любовь.
А не найдя великую,
отринув мишуру,
с повинною улыбкою
вернулся ко двору.

И вот стоит растерянно,
кривит в усмешке рот,
поглаживает
дерево
отеческих ворот
и видит, как состарилось,

полынью поросло
по самые
по ставеньки
былинное село.

Знать, весело проехали
неведомо куда
над крышами и стрехами
буранные года.
Ушли
и не воротятся,
как вольная река...
Колотится,
колотится
сердечко
чудака.



В утлом доме — тишина.
Дверь не хлопнет.
Пол не скрипнет.
На старуху дед не крикнет —
ох и старая она!

Тишина как тишина.
В окна улица видна.

Ноздреватый лед в кювете.
Снег в тележной колее.
Чуть колышет свежий ветер
мокрый флаг на сельсовете
да траву на верее.

Мир исполнен доброты.
Окна мытые — чисты.
Небо сине, будто речка.
Обнаженный, черен лес.
И ни звука,
ни словечка,
человечка
нет
окрест...

*

...А только станет вечереть,
при тусклом загородном свете
в дом собираются соседи,
чтобы на гостя посмотреть.

И лущат семечки. И ждут
моих рассказов небывалых
о приисках,
лесоповалах,
о снежных северных завалах,
о ценах в нынешнем году
на промтовары
и еду.

Ах, все им ведомо давно!
(газеты, радио, кино...)
Но, в рот заглядывая снизу,
как своему
и очевидцу,
мне больше верят все равно.

И я рассказываю всласть,
а самого приятца гложет,
что нету надобности врать,
да и прикидываться
тоже.

Я все прошел
и вдалеке
был их кровиночкой,
а значит...
...И кум растроганно заплачет
на украинском языке.

...Волчонок мой!
Какая ни беда с тобою ли,
со мной ни приключится...

*

И дальний лес,
и близкий город,
и пруд,
и камни пустыря
преобразил осенний холод
за две недели
ноября.

Земля черна, как сковородка.
Туманы въедливы, как дым.
И нужно время
и сноровка,
чтобы глаза привыкли к ним.

И сквозь тугую паутину
угадывали,
например,
не только цельную картину,
но и детали перемен.

Но я рассеян,
и вниманье
поглощено тобою всей.
И взгляд далек от пониманья
земных,
не вечных мелочей.

На стыке осени и лета,
в преддверьи будущей зимы,
хочу,
чтоб ты бежала слепо
за мной
на краешек земли,

где ра́вно,
что ни приключится:
беда и радость —
пополам!

Но дни идут. А осень длится.
И не дано тому случиться —
ведь нас с тобой
одна волчица
во поле чистом родила.

*

Ах, не краешком задела!
Налетела,
          налегла,
                    захлестнула,
          завертела,
подхватила — понесла!

Ну а вдруг
поднимет к тучам
и у света на краю
опрокинет в ноги кручам
дом с твоим благополучьем,
лодку драную мою?

Захлебнутся ли от крика
похоронные ветра
над останками корыта
и обломками весла?..

Беспокойная белая вьюга,
Беспроглядная черная мгла...

*

Беспокойно билась вьюга.
Не проглядывалась мгла.
Суеверная подруга
друга милого ждала.

Друг опаздывал
и, может,
вечность медлил, а не миг.
Этот век был ею прожит
напряженнее других.

Но — встряхнулась,
встрепенулась,
головою повела.
Друг пришел — не обернулась,
молча в горницу ушла.

Я стучусь. Напоминаю.
Морщу скорбное чело:
ожидать мужей, я знаю,
непомерно тяжело.
Пусть теперь,
когда не бьется
сердце в мерзлое окно,

хорошо тебе живется
и безоблачнее,
но...

Свет ты мой,
дичок упрямый!
Горе горю — не чета.
Погляди: в оконной раме
как реальна
пустота! —

ни таинственности мрака
и ни горечи пурги.
Лишь бездомная собака
чертит по снегу круги,

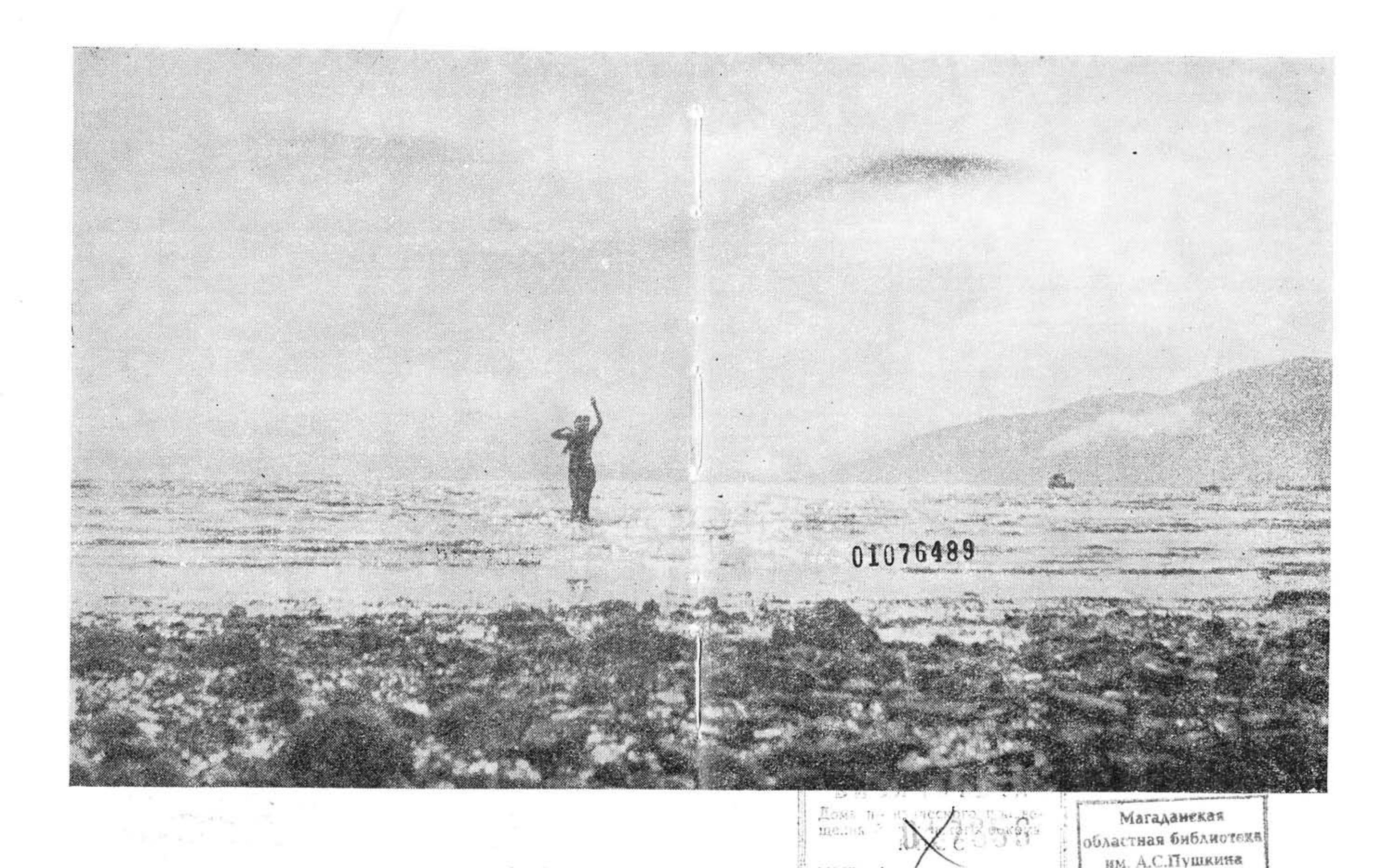
люди бегают по свету
с головнями папирос...
Вот и все. А вьюги — нету.
Только
по сердцу
мороз.



Я не был на том берегу,
но только представлю — и сразу
встает в опаленном мозгу
земля,
недоступная глазу.

За тридевять гор и морей,
во сне встрепенувшись от страха,
навстречу тревоге моей
спешит Обнаженная Маха.

Людей о пощаде моля,
я сам —
обнажен перед нею!
И тень ее
через моря
сливается с тенью моею.



*

Что упало, то пропало.
Чему быть — не миновать.
Что посеяла — пожала,
Ванька Ветров виноват.

И кричи теперь по свету,
голоси на целый свет —
ни привета,
ни ответа.
За семь бед — один ответ.

Не уеду — так забуду.
Не умру — так отболит.
А уж битую посуду,
клеить битую посуду! —
мне и возраст
не велит!

Пусть живется
как живется.
Не забыть бы наперед,
что, где тонко,
там и рвется,
но...
до свадьбы
заживет!

*

Все снится мне парусник синий
на фоне алой воды.
Матрос,
отряхающий иней
с огненной бороды.

И мачты,
с тележным скрипом
валящиеся к волне...
Весь дом, напуганный криком,
на помощь спешит ко мне.

Так модны теперь инфаркты,
так страх перед ними силен!..
А в доме —
ах елки-палки! —
нет ни одной знахарки,
чтобы понять мой сон.



Бела твоя постель.
Метель моя бела.
И сам я — белый Лель:
ни дома, ни стола.
(Треклятая свирель
до ручки довела!)

Но бел мой сирый путь
и помыслы чисты.
Нет дома — ну и пусть,
есть травы и цветы.
(Авось когда-нибудь
поймешь меня и ты!)

А быть или не быть —
мне, в общем, все равно,
коль скоро и любить
тебя не суждено.

В деревья и цветы,
в протяжную метель
веди меня, веди,
печальная свирель.

*

Подступит к горлу фраза старика,
нехитрая,
сработанная просто,
о том, что безрассудно далека
тропа
от колыбели до погоста.

Старик был сед
и мог о том судить
без фальши и ребячьего запала,
что для него уж было
позади,
а мне еще
всего лишь — предстояло.
Но вот и я состарился почти.
Приветствую вас, первые седины!
А есть ли толк
от моего пути,
пройденного уже до середины?..

Как вдруг
забьется жилка у виска
от тихой, но пронзительной догадки,
что жизнь
неимоверно коротка.
И надо торопиться. Без оглядки.

ПЕРВОЕ УТРО

Из старательской тетради

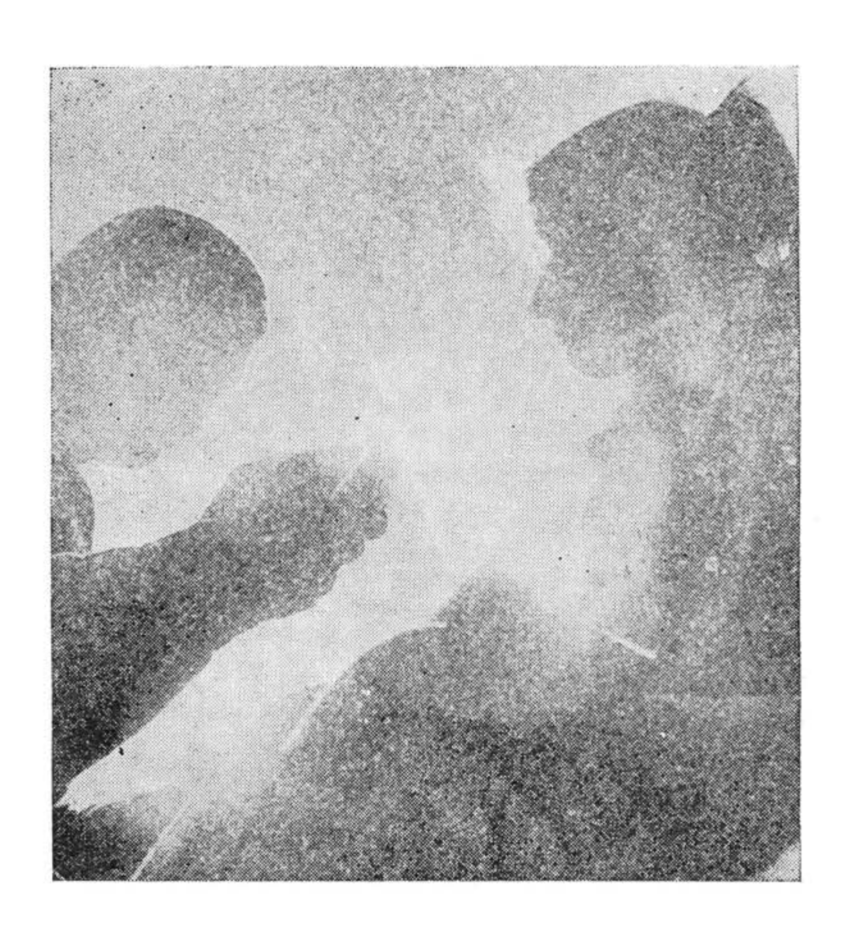
У, какая пустота!
Небо. Лед. Ветер.
Семисотая верста
от любимого перста,
от всего на свете.

Ни дороги,
ни лыжни —
ляг
и ноги протяни.

(А у мамки? —
на лежанке? —
творога? —
да пироги?!)

— Ну-ка, парень,
подмоги!

Что стоишь?
Руби лесину.
Нам теперь
тянуть резину
не к лицу
и не с руки.



Так ли,
братки-мужики?!

И захлопали
палатки
в беспорядке
вдоль реки.

...А назавтра,
поутрянке,
встав задолго до зари,
пели пилы и рубанки
да в веселой перебранке
состязались топоры.

И кричал сосед соседу:
— Если так пойдет —
к обеду
город выстроим, считай!

— Чо болтаешь?
Не болтай!
Город нам в лесу не нужен.
Было б где сготовить ужин,
к сроку баньку истопить,
в пору спрятаться от стужи,
затянуть портки потуже,
переспать
да чай попить.

Город — дело дорогое.
Проку ль —
строить, а не жить?

Нам задание другое:
больше
золота
намыть!
И пока не до излишка
ни тебе
и ни стране,
заруби, говорунишка:
государству —
золотишко,
ну а денежки —
жене...

...А вдали,
у перевала,
где всю зимушку
бела,
речка Льдинка зимовала
да поземка завывала,
будто вострая пила,—
там вставала из-под снега,
алым полымем горя,
в полумира,
в полунеба
светом полная заря.

И кричал сосед соседу:
— Он мечтает не для вреду
делу нашему.
Пойми! —
Хоть мечта при всей работе
как бы только
дух при плоти,

да не зря она в почете
меж сведущими людьми.
Есть у ней такое свойство,
что и слабых
до геройства
может часом поднимать.
Это
надо
понимать!..

И опять звенели пилы.
И заря
росла,
росла
и всходила на стропилы,
чтобы всем достало силы
на мечты
и на дела.

...А когда заря угасла,
дым пошел из новых труб,
стало ясно
и прекрасно,
даже грустно
стало
вдруг.
От сияния ли простынь,
от свечения ль рубах?..

Пахло стружкой
и морозом
в свежесрубленных домах.

Духом терпкого уюта
пропиталось все насквозь.
И от этого
кому-то
почему-то
не спалось!

— Эх, ребята!
В месте этом
хорошо б пожить поэтам.
Ни грызни
и ни сует,
даже славы
сбоку нет!
Перед накипью и ржою,
перед глупостью чужою
не пуская пузыри,
знай себе
гори душою,
всей фантазией
гори!..

— Э-э, постой!
Настанет лето,
золотишко потечет,
ты тогда
про все про это
бросишь
с ночи до рассвета
сокрушаться,
землячок.
И, по-моему, забота
одолеет всех одна:

вся ли сделана
работа
от рассвета до темна?
Ничего ли не забыто?
Много ль золота намыто?
И чем дальше,
дальше в лес —
тем
сильнее
интерес!..

— Ну, а ты о чем, товарищ?
— Мысль ворочаю,
браток.
Может, ты ее доваришь?
Не возьму я что-то в толк:
вот мы строим
«дачу» эту.
А оставим
на кого?
Как же я теперь уеду
от созданья своего?
Если, может, и забуду
речку,
горы,
этот лес,
к своеручному-то чуду
как
утрачу
интерес?!

— А чего его
терять-то?

Не желаешь — не теряй.
Усади с собой на трактор,
вдоль по Питерской
валяй.
А не то —
так в новом месте
строй опять,
дерзай,
верши.
Заодно
«прощай» невесте,
всем невестам! —
напиши.
Что по мне,
так я
уеду.
План дадим —
справлять победу
лично я
в Москву лечу!
Ох и дел наворочу!
На местком подам
заявку,
мол, зимою
рупь за ямку
слыхом слышать
не хочу!
Аппетиты не остыли —
глотки
чтой-то
не басят!
Мы свое
отколматили,

пусть
другие
колбасят!..

И сказал ему сосед:
— Дуракам законов
нет.
Потому-то эти сопки
для тебя,
окроме сотни,
и не стоят ничего,
что труды твои
отсохли
от сознанья твоего.
Потому ты в жизнь влюбленный,
что весь мир тебе —
слоеный
пирожок. Жевай скорей!
Вольный ты.
А я — наемный
всею совестью своей.
Необъятность — не объемлю.
Что мне с мира?
Я не бог.
А люблю я
эту
землю,
на которой мерз
и мок.
Не за то люблю, что мок
(мерз и мок — на совесть!).
А за все,
что превозмог,

что обжиться ей
помог,—
отогреться то есть.
Честь и совесть,
пот и кровь —
вот она —
моя
любовь!..

СТАРАТЕЛЬ

Год ли, два мужику до пенсии?
Может, срок и того длинней.
Человек гулевой профессии,
вряд ли он доживет до ней.

Ну а ежели и дотянется,
что сулит она мужику,
если сердце
середь дистанции
остановит на всем скаку?

Жил он в ярости,
жил он в горести,
по тайге вековой кружил,
и отвыкнуть от этой скорости
у него уже
нету сил.

Ах как ломится дед!
Сквозь заросли.
В царство призраков и теней.
Сломя голову
вон! —
из старости,
но уже по колени
в ней.

ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРУ

Смурной, колючий и голодный
в обед приходит Завгородний
и чертыхается незло:
— Опять, старик, не повезло?..
— Еще и как
не повезло!..

В разгаре дня,
среди сезона
нога,
как старая рессора,—
сломалась. Треснула. Болит.
И шевелиться не велит.

Ах, сукин сын! Балбес! Машина!
Такую ногу раскрошила,—
ведь чуть не новая была!
В тайге была. Недоедала.
Редакторам надоедала.
На жизнь шагала
и на смерть.

А что теперь?
Сезон в зените.
Все моют золото,—
взгляните!

А я валяюсь, извините,
как недостойный элемент.

И жгу табак.
И ем консервы
в стенах таежного жилья.
И так мне действует на нервы
лежачка! —
ненависть
моя.

*

Охранник дремлет в будке дровяной.
То бросит взгляд в окошко,
то на чайник.
На промприборе,
вроде как
начальник,—
он нехотя беседует со мной.

Чего да как,—
на все ему плевать.
Кого б мы в бригадиры ни избрали —
ему бы только
золото не крали,
колоду бы не вздумали
вскрывать.

А за окном —
гремучая весна!
Пронизанная свежестью и светом,
ни отдыха не ведая,
ни сна,
вся в половодьи,
гонится за летом...

Ну чем его, сердешного, пронять?
Я медленной тоскою закипаю.

— Далось тебе,—
сочувственно вздыхаю,—
железо, понимаешь, охранять.
Небось и лет не больше тридцати,
и по утрам ворочаешь гантели,
а весь талант
содержишь
взаперти,
во всяком разе —
не при лучшем деле...

— Помалкивай,—
он строго говорит,
а взгляд на трехлинейку переводит.
Не то чтобы в нем ненависть горит,
но что-то с ним,
должно быть,
происходит.

И он с окна махорку достает.
Сворачивает крепкую цигарку.
Прикуривает,
морщится,
встает,
опять садится
и опять встает,
собою заполоняя всю хибарку,
косясь то на окно,
то на заварку.

А я в него
пронзительно гляжу.
Насквозь как будто взглядом пронимаю!

Но что ищу —
того не нахожу,
а вижу что —
того не понимаю...

И не пойму.
Который год подряд!
И все гляжу.
А он все прячет
взгляд.

ИРОНИЧЕСКОЕ

Не мешали бы деревья видеть лес,
совершил бы я отчаянный прогресс:
вдоль по жизни и по лесенке судьбы
уж тогда бы я продвинулся,
кабы...

Вот и волосы устали опадать,
а конца и края лицам не видать,
не сливаются в единое,
и все!

Что ни дерево — знакомое лицо,
дорогое до последнего сучка.
Как посмотришь на такое
свысока?

И пройдешь ли,
чтобы сердцем не задеть,
самого себя
за ним не разглядеть?..

Жизнь уходит. Отойду, не отогрев,
заблудившийся в лесу среди дерев.
Корни голы. Ветки стынут на весу.
...Зимний кустик
в человеческом
лесу.



*

Я задую в тайге небольшой костерок,
чтоб медведя и волка в пути остерег
от ружья моего.
От объятий моих,
чтобы загодя он
отговаривал их.

Темнота у костра встанет плотной стеной
так, что можно в нее упереться спиной
и шептать до утра, до зари над рекой:
— Да святится Земля.
Да святится Огонь.

Да святится огонь, согревающий нас!
Да святится огонь, пребывающий в нас!
Полагаю,
что не было б в мире меня
без людского тепла
и земного огня...

АВГУСТ

Ночи белые короче.
Темь прохладней и длинней.
Это — август.
Между прочим —
месяц осени моей.

Он снега еще не крутит,
перелётицу не бьет.
Рыбку ловит.
Воду мутит.
Золотишко выдает.
Будит зо́рю топорами:
с механизмами — беда!
А зима не за горами,
за горами — города.

За горами,
за долами,
за дымами до небес —
наши папы,
наши мамы,
наши дети, наконец.

А еще
за той верстою,
что отсюда не видна,

новым днем озарена,
неразрывная со мною,
ты —
    осенняя страна...

ПЕЙЗАЖ С КОБЫЛОЙ

Далеко ли до метели,
далеко ли до зимы?
Даже палки
облетели
здесь, в верховьях Колымы.
И течет она,
тугая,
между небом и землей,
остывая,
затухая,
отрешенная такая,
обреченная такая
на свидание с зимой.

А октябрь на дворе
ясен — господи! —
Не бывало в октябре
такой осени,
чтобы даль — чиста,
близь — оранжева,
чтобы музыкой
уста
завораживала!..

Но,
ансамбль нарушая,

гривой чалою маша,
в раму зрения
кобыла
входит серая,
как снег...

*

Разъедутся на зиму люди,
машины уйдут по лыжне,
и мысль о несбывшемся чуде
опять возвратится ко мне.

И снова
в железной кровати,
в махорочном стойком дыму
тревожиться мне по утрате,
что так недоступна уму.

Осыпались годы, как листья,
а средь почернелых стволов —
не волчья, не рысья, не лисья —
видна лишь тропа бескорыстья,
цепочка бесхитростных слов.

Так вот чего ради,
во имя,
во благо и славу чего
все шел я путями своими,
не зная пути своего!

И если я завтра не буду.
ужели истает он —
след

любви
и стремления к чуду,
которого, в сущности,
нет?..

БУНТ ВЕЩЕЙ, СОБАЧИЙ ХОЛОД

Просыпается село.
Двери стонут тяжело.
Двери всхлипывают, плачут,
будто жалуются на
тех, кто будит их, а значит,
ни про что лишает сна.
— Скрип-скрип!..
Вскрик? — Вскрик.
Просыпается село.
Окнам тоже тяжело.
Стекла в них озябли за ночь,
больно звякать. Извини...
Но ведь бьет жену Иваныч
по утрам — не то чтоб на ночь! —
хошь не хошь, давай — звени:
— Дзинь-дзинь!..
День? — День.
Просыпается село.
Всем сегодня тяжело.
Старый пес соседской суке
подвывает в пустоту:
— Лапы стынут. Были б руки —
так совсем невмоготу б.
— Гав-гав!..
Гол? — Бос.
(Пес не в рифму. Старый пес!)

Просыпается село.
Встану молча всем назло.
Пробегусь до поворота.
Только где он — поворот?
Где колхозные ворота,
сам аллах не разберет.
— Эй, снег!
Их — нет?..
(Да окстись ты валить, оголтелый! — вон уж
и крыш не видно...)
— Эх-ма!
Зи-ма...

ГОРОД

1.

Белы тротуары. В раздумье
подъезды погружены.
Морская нелепица дует
с нагаевской стороны.

На башни, коньки и порталы,
на плечи и этих, и тех,
тяжелый, сырой и усталый,
ложится декабрьский снег.

Ничто меня лучше не лечит
нелепой его кутерьмы.
Смотрите, как искренне лепит
он временный облик зимы,

как умно и как непритворно
слепое его мастерство.
И странно —
готовые формы
совсем не смущают его...

2.

Ночь нависла над городом,
глубока и черна.

Неуютом и холодом
властно дышит она.
Окна гаснут.
И медленно
все стихает во сне.
Что нам будет отмерено
в наступающем дне —

для полета фантазии,
воплощенья мечты?
Сколько прозы,
поэзии
и людской доброты?

Все реальные сложности
жизни нашей познав,
город взвесит возможности
и доложит их нам.

В темноту ощетинивший
кулаки фонарей,
он — на старте
и финише
пролетающих дней.

3.

А утром снова
пройти, любуясь,
как дует ветер
свежо и зло
в усы неровных
портовых улиц,

стянувших город
морским узлом.

И в громе кранов,
в кипеньи чаек,
в людском потоке,
пускай извне,
а все ж увидеть,
как он крепчает —
наш день грядущий
в летящем дне!

ОЖИДАНИЕ ЧУДА

Ну что за состояние души? —
Хоть лопни,
хоть строку, а напиши!
Хоть что-нибудь скажи...

А на дворе —
сыпучий дождь,
как в старом букваре:
пунктиром и тире,
            наискосок,
через рисунок улицы и дома
недвижимо летит
и невесомо.

Прислушиваюсь к шелесту дождя.
Испытываю сладкое волненье,
как будто вот
сейчас,
через мгновенье,
блистательная,
словно откровенье,
во мне родиться музыка должна.

Ах, где оно?
Мгновение, приди!
Постыли мне пустынные дожди,

сыпучие,
сухие, как песок,
нацеленный
в висок
наискосок.

Но нет его.
А вдруг оно прошло
и вслед ему вздыхают тяжело:
кургузый дом,
скрипучее крыльцо
и улицы раскосое лицо,
изрытое колесами телег,
автомобилей,
детских «фаэтонов»,
и навсегда
затерян его след
средь луж, передовиц и фельетонов?

Однако — нет.
Мгновение — придет.
Я чувствую,
весь город тоже ждет.
За сеткой струй,
сумятицей воды,
за пеленой осеннего тумана
от Инвалидки и до Марчекана
он вздрагивает тягостно и странно,
как вам дрожать
господь не приведи!

Как страшно мне!
Мир полон напряженья.

В неясном ожидании дрожа,
я напрягаю все воображенье
и вслушиваюсь в шорохи дождя.

Но ничего со мной не происходит.
Проходит час. Воскресный день проходит.
Проходит ночь. Неделя. Месяц. Год.
И — ничего!
И только дождь идет.

И девушки бегут до поворота.
И снова город
словно ждет чего-то...

...Эти двое боятся друг друга.

*

Между этими двоими
(между мною и тобой!)
страх, отчаяние,
или
обреченная любовь.

От конца и до начала,
от начала до конца
ты меня
«остерегáла,
не открывáла лица»
Горькой горлинкой слетала
с ветки мужнего крыльца.

Не стелила мне постель,
брагой не поила,
хоронила от гостей
и — похоронила.

Успокоилась.
Ушла.
Крылышки сложила.
Мужу — сына родила,
счастье одолжила.

Но горит еще в очах,
спрятанных глубоко,
тихий ужас,
теплый страх,
сладкая тревога...

*

Боюсь приближаться к окну:
от страха бы кровь не застыла.
Ведь только подумать! — а ну
как снова дорога пустынна?

Могу ли признаться себе,
что нет тебя больше в помине,
что холодно стало княгине
в моей коммунальной избе?..

Ушла, запахнув шубею.
Уехала в сторону юга.
И белая барская вьюга
к утру
замела
колею.

Снова зимняя птица пела,
на студеном ветру дрожа...



Если б зимняя певчая птица,
грусть мою разгадав за версту,
не прильнула однажды напиться
к моему обгорелому рту,

не присела бы весело возле,
в неизвестные дали маня,—
может быть, меня б не было вовсе
или просто не стало б меня.

Но однажды свершенное чудо
быть им вечно уже не могло.
Не ищу,
          появилось откуда,
а куда,
        сокрушаюсь,
                    ушло.

И вернется ли в образе новом,
как январские снеги, чиста,—
с птичьим щебетом,
девичьим словом,
поцелуем в немые уста?..

*

Дело движется к Новому году.
Дело дрянь
и движение — тож.
Потому что в такую погоду
никуда от себя не уйдешь.

Не пускает,
стоит за плечами,
в душу черные ветры кося,
мой декабрь,
мой двойник одичалый,
обозленный на всех и на вся.

Не сужу его злобную кипень.
Прокаженное сердце скрепя,
обреченный на скорую гибель,
это он — изжигает себя!

Вот и мне
перед смертью
от боли
станет вдруг на душе
веселей,
что умру не по собственной воле,
а по дерзкой
указке твоей...

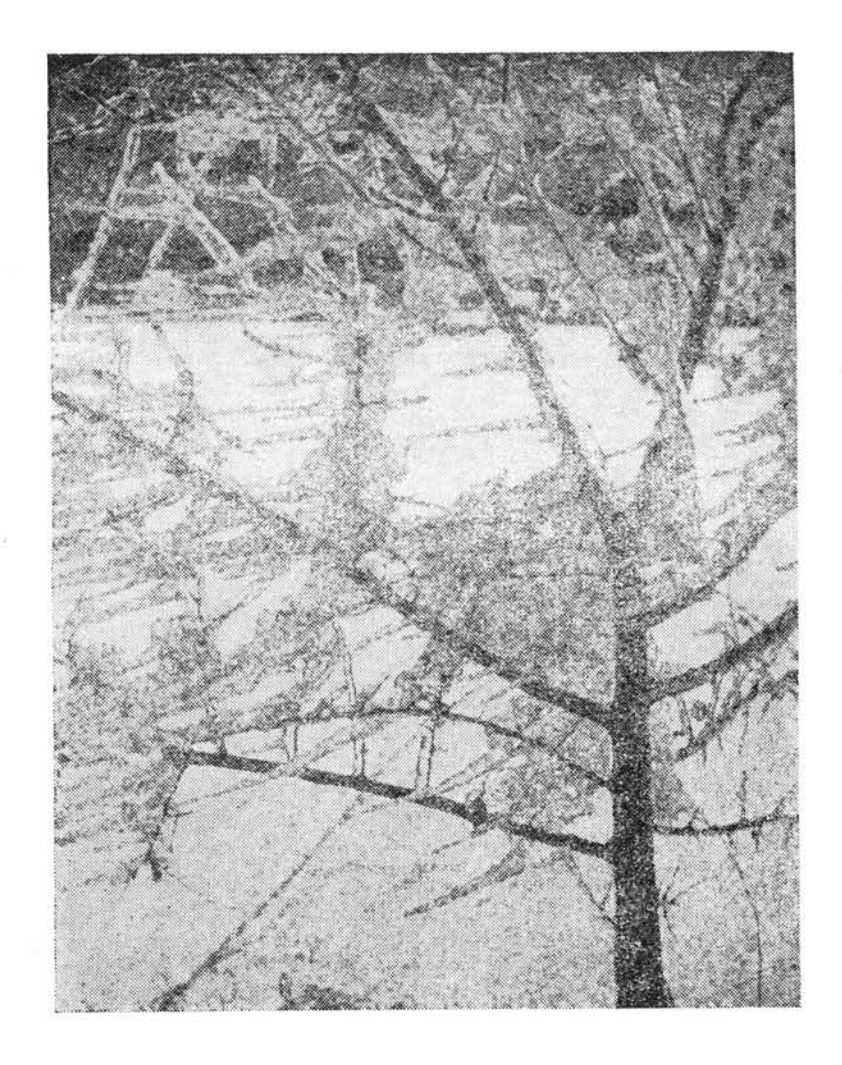
*

Е. Рожкову

Весна не весна.
И не лето.
Лишь теплые эти пары
да белые ночи,—
лишь это,
поди, основная примета
отнюдь не осенней
поры.

Но реки белы и недвижны.
Но пыльные тропы
черны.
Но прямо за городом
лыжни
еще иль уже,
а видны.

В каком-то большом межсезонье —
воистину:
пламень и лед! —
косясь на багровые зори,
с тревогой и грустью во взоре
в грядущее
город
идет.



Но стоит приблизиться к порту,
и встанешь
как пень оглушен.
Выходит,
подспудно в работу
мой город уже
погружен.

И что-то, выходит,
творится,
взрастает во чреве двора,
чему не пора
отвориться —
готовиться только
пора.

НАД КНИГОЙ ВИЙОНА

Восходя на эшафот,
становясь к стене спиною,
трудно верить,
что народ
снимет шапки
надо мною.

Как поверить —
смерть пришла
и она —
          неотвратима?..
В тишине —
               колокола.
Пес лежит невозмутимо.

Поле. Небо. Облака!..
Разве в день такой
стреляют?
Не иначе —
               дурака
от безделия
валяют.

Все, конечно,
может
быть.

Но ведь как поверить в это? —
Человека.
          Вдруг.
               Убить.
                    Вдруг.
          Повесить.
Человека!

Вот винтовки поднялись.
Шутят?
Господи, да полно!..

Залп.
Я падаю.
          Но — ввысь.
Это все еще я помню...

К ПОРТРЕТУ

И. С.

Тот рысий шаг. Жеребий круп.
Тигриный рык в зубах.
И гриву львиную.
И вдруг —
бровей орлиный взмах.

И гул мятежного нутра.
И солнце
на клинке
красноармейского пера
в простреленной руке.

И эту пристальную речь,
окованную в стих,
дано не всякому
беречь,
не каждому
постичь...

*

Прощай, недолгий угол,
души моей приют,
с которым горе мыкал
в плену теней и кукол,
среди недвижных пугал
и загородных вьюг.

Музей первопроходца,
амбар ли чудака,—
вмещал он, что придется:
и разницу, и сходство
всей свежести колодца
с удушьем чердака.

Сюда, полны отваги,
слетались по весне,
усталые, как флаги,
поэты и бродяги
увидеть правду в браге,
а истину — в вине.

Ау, мой мир пристрастный!
Отрезан путь назад...
И вдоль дороги тряской
по долгу дружбы братской
в проекции обратной
лишь сны мои летят.

*

И не молодость уже,
а еще не старость.
Тридцать лет — в багаже.
Много ли осталось?

Не скупился. Не берег.
А копил если,
то лишь порох дорог
да порой —
               песни.

Уставал. Устаю.
Устоял в главном.
Из себя восстаю,
а несладко пою —
что поделаешь?
пою,
и на том
ладно.

В горле песен комок.
Жизнь течет
к устью.
Что ж, прощай,
комсомол, —
говорю с грустью...

...Ветра свежая струя,
солнышка колечко,
комсомолочка моя,
алое сердечко!

АЛОЕ СЕРДЕЧКО

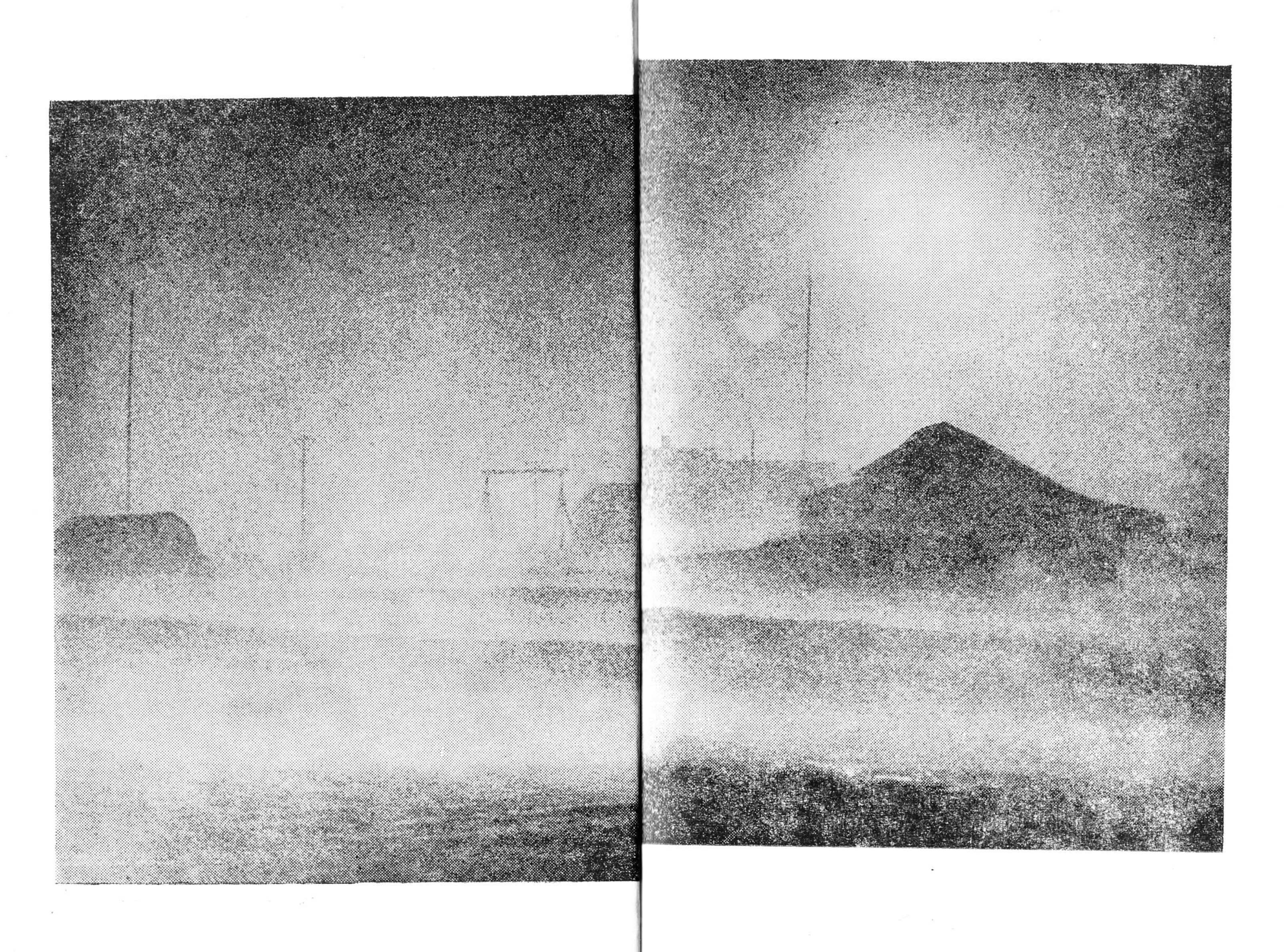
Рае

1.

Белый холод. Зима.
Вековая стужа.
Эх-ма,
Колыма, —
есть ли что
хуже:

то метель,
то пурга,
то разгул снега.
Простирает берега
забубенная тайга
от земли до неба.

Города не за горой,
но меж двух селений
ни дороги порой,
ни тропы оленьей.
Сам-то век
давно не тот
(в свете самолета!).



Ну, а здесь
и самолет
санкам фору не дает.
Тут Прогноз
веревки вьет
из Аэрофлота!

Потому-то,
(что скрывать?)
вышнему начальству,
чтобы не запурговать,
здесь доводится
бывать
разве в год
                по часу.

Так что в целом
край — не ах.
Но не страх, по сути.
Ведь живут и в тех местах
такие же люди.

Не клянут житье-бытье
и справляют смело
невеликое
свое,
но большое дело.

Человеку что
                зима? —
он и с ней сроднится.
А Сибирь ли,
Колыма —

не грозила бы сума
да была б жива
сама
русская землица!

Тут механика
проста...
Но в текущей жизни
гайка гайке —
не чета.
Есть и сложные места
в этом
механизме...

2.

Вот он —
            «сельский
                        механизм». —
Небо. Снег. Воздух.
Три десятка частных изб
да пяток
совхозных.

Душ
    не более двухсот
с малышами вместе.
Но зато
стране доход
эта горсточка дает
за год —
            тысяч
                        двести!..

К сожаленью,
мой рассказ
не о «тысячах» сейчас.

О хозяйственных успехах,
производственных делах,
я прошу читать
в газетных
обстоятельных
статьях.

А короткая поэма —
о, не там ее лыжня!
Сплошь
лирическая
тема
опоясала меня.

Заронила в сердце муку
и уже который год,
что ни ночь,
берет за руку
и сквозь памятную вьюгу
к клубу сельскому ведет.

Чтобы сердце било,
било,
вспоминая до утра
все, что было
и не сплыло,
словно было
лишь
вчера...

3.

Ворковал самовар
на столе широком.
Зло южак завывал
за границей окон.

Радиола плыла.
Тяжко Пьеха пела...
А хозяйка
была,
как морская пена.

В белом платье,
легка
и зеленоглаза...
Ох, летит с языка
банальная фраза! —

не девица —
Любовь! —
кланяясь учтиво,
нас вела за собой
и была притом
собой
хороша на диво.

Не пустой красотой —
приложеньем к платью,
покоряла добротой
и российской статью.
Обаянием брала,
щедростью великой!

...Витька
ножку стола
ковырял
вилкой...

4.

Виктор Кей —
моторист.
С небольшим стажем,
но большой специалист,
прямо скажем.

Все машины в селе
с ним знакомы лично
и работают все
от-лич-но!

Знать, подыскивал сам
(да и кто лучше б?)
к их железным сердцам
золотой
ключик.

Отчего же печаль
сушит
губы?
Нет в комплекте
ключа
от сердечка Любы?

И отмычки нет?..
А и впрямь — нету...

Меркнет белый свет.
Снег летит
по свету.
Холодок на душе.
Морозец по коже...

— Объяснялся уже.
— Так что же?

— Сто причин привела.
И судила верно.
И понять поняла,
а любовь
отвергла.

Я и с лаской,
и так
(парень не из хилых!).
— Брось,— сказала,—
чудак.
В мужья берут
милых.

Чтоб идти —
далеко,
солнечно ли,
лунно...

Говорит она
легко,
а живет —
трудно...

5.

Заморожено окно.
Взвихрена дорога.
Пьет девчонка вино,
Костерит бога.

Господи! —
ну как ей быть?
Снег летит по свету.
Очень хочется любить,
а любви —
нету.

Есть ребята ничего,
но не для полета.
Полюби поди его —
разменяешь торжество,
угодишь в болото.

У него под сердцем
еж,
у нее —
синица...
Тут за здорово живешь
не объединиться!

В белом холоде зимы,
в непроглядной стуже,
согреваться
взаймы —
и того
хуже.

Чует всею душой
холодок под кожей:
не согреет чужой,
не поймет
прохожий.

И она живет,
живет.
Боль под крылья прячет.
Любит Родину,
а вот —
вечерами
плачет.

— Отчего я так слаба,
отчего упряма?
Неужели судьба
вся в тебя,
мама?

Обманувшись в одном,
в уголок забиться,
И пускай под окном
толпы дней,
лица,—
не встречаться с людьми,
постареть за год?..

Ах, мамуля,
твой мир
чересчур замкнут.
Золотая голова
холодна напрасно.

Как ты там
ни права,
а и то
несчастна...

6.

Вечер шел чередом
по своей орбите.
Чай и танцы,
потом
снова чаепитье.

Вот и взмок,
изнемог,
ржавый зуб оскалил
лучший в мире
стрелок
Кергинто-Ческальгин.

— Ну и сай! — говорит,—
не пывал такого!
Какомэй! — говорит,—
сам во рту горит,
а исо норовит.
Осенно толково!

За такой веселый сай,
стоб запоминаться,
нам с хозяйкой
невзнасай
надо
селоваться!..

И торжественно пыхтя,
на забаву клубу,
как влюбленное дитя,
дед глядел на Любу.

А она —
чаи пила.
Пьехе подпевала.
Веселилась, как могла,
и что грустною была,
ото всех скрывала.
Ибо танцы,
чай,
смех
до седьмого пота —
отдых
все-таки
для всех,
для нее —
работа.

Трижды будь невесела,
хочется ли,
нет ли,—
на виду всего села
чтоб глаза
не меркли!

Не затем спешил народ
на огни клуба,
чтоб увидеть,
как ревет
комсомолка Люба!

Разве шли они на чай?
Шли к теплу,
к свету!..
Так что, Любушка,
встречай,
весели да привечай.
А печаль?
Да что ж печаль? —
И в ком ее нету!

Тут куда ни оглянись —
люди ж всё,
люди!
Вон как высох
моторист
по тебе,
Любе.

Черный,
как морской песок,
будто скол скальный,
не по юности ль
иссох
дедушка Ческальгин?

А пойди повороши
всё людское море,—
у кого на дне души
нет беды,
горя?

Но текут,
бегут года.

Поглядишь вскоре,
ан и горе —
не беда,
и беда —
не горе!

7.

Чай остыл. Умолкла Пьеха.
Все ушли. И только эхо
в воздухе еще дрожит.

Гаснет свет под крышей клуба.
Никого. И только Люба
эхо это сторожит.

В тишине,
как в чаще ветка,
нервно хрустнет сигаретка.
Тень качнется на стене.

Много раз
она качнется,
пока новый день начнется,
новый день
в суровой, дальней,
чуть обжитой стороне...

ВЕЛЕНЬЕМ ВРЕМЕНИ РОЖДЕННЫЙ

Посвящается дому № 3-5
в переулке Школьном

1.

Есть дом посреди Магадана.
Другими стеснен
и забит,
давно он забыт,
а подавно —
в последние годы
забыт.
Лишь изредка шутят
(недаром!)
соседних домов этажи:
— Глядите-ка,
дом под забором,
как сломанный ножик,
лежит!..

Но ржавый, кургузый, дощатый,
всем телом и вправду —
складник,
тот дом,
словно выкрик прощальный,
грядущее с прошлым
роднит.

Не знавший
железобетона,
не видевший кисти,
резца,
с фасада он
серого тона
и просто облезлый
с торца.

Он, может быть,
в юные годы
имел молодеческий вид,
да вот искривили невзгоды.
(О, время и сталь искривит!)
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

А люди
все двигали
время
и, личных судеб поперек,
полжизни —
скорее, скорее —
вперед торопились,
вперед!
Не ведая вовсе,
не зная
и знать не желая о том,
что эта пробежка сквозная
одышкой им выйдет
потом.

Но — всем уготована старость.
Иная нас участь
не ждет.
Зеленая,
звонкая поросль
уже и за нами
идет.
И завтрашним утром,
быть может,
услышу я смех за спиной:
— Глядите-ка,
мальчики,—
ножик! —
Не дядька,
а ножик складной!..

И я не обижусь. Чего там!
Шути,
бесщабашный народ.
Но знай,
что и вашим заботам
настанет однажды
черед.
Вот время проверит на годность
и в комнатах ваших сердец
поселит и горечь,
и гордость,
и грусть о себе, наконец.
И кто-то моложе и краше
уже и за вашей спиной
вот-вот и обронит однажды
такой же смешок
озорной.

И в эту минуту, наверно,
прозрением вдруг
одаря,
надежда вас выручит,
вера,
что жизнь пролетела
не зря.
Что в тучах строительной пыли,
держа на себе
провода,
не вечно вы стройными
были,
но нужными были
всегда!..

2.

Есть дом посреди Магадана.
Уже он и стар,
и щеляст...
А может, с рожденья
фатально
ему не хватало
пилястр?
И может быть,
кариатиды
его еще вывели б в свет,
когда б не скупые кредиты,
не трудности
давешних лет.

А в чем он виновен —
творенье

людских торопившихся рук?
Ему говорили:
скорее,
вот доски,
вот гвозди,
вот время,
вот дети,—
укрой их от вьюг!..
И где уж тут млеть над фасадом?
Он шансы свои подсчитал.
Окинул строителей взглядом.
И стал с ними об руку.
Рядом.
А вскоре и первым детсадом
большим
в нашем городе
стал.

Шли зимы,
и весны менялись.
И время текло и текло.
Другие дома
поднимались.
В бетон одевались,
в стекло.
И вскоре подумало Время:
— На данном отрезке пути
детсаду
другое строенье,
пожалуй, пора отвести...

Как счастливы были ребята,
что взрослые

вспомнили их!..
А дом
провожал
виновато
птенцов беззаботных своих.
Обижен изменой жестокой,
крепился он,
что было сил.
Но —
крякнула
первая
стойка,
осев на мерзлотный массив.

Потом
расставанья и встречи
все чаще случались ему.
Жильцы стали вовсе не вечны.
Глядишь,
не обвыкнутся вещи,
а место их
в новом дому.
Привыкнет к ребячьим проказам,
во взрослые вникнет дела,
а их уже в новую —
с газом! —
нелегкая понесла.
Заполни все комнаты грустью,
все окна —
уехавшим вслед...

. . . .
. . . .

. . . .
. . . .
. . . .

3.

«Есть дом посреди Магадана...»
Я это к тому говорю,
что сам я любовью
подавно
к подобным домам
не горю.
И мне, понимаете,
тоже
по сердцу иные дома.
В которых не чувствует
кожа,
что вот на дворе
Колыма,
зима с атрибутами лиха
и прочих
невинных страстей...
Живи себе
мирно и тихо,
встречай неуемных
гостей.
И пусть прилетают с Чукотки,
съезжаются с ближних дорог,—
найдем в холодильнике
водки,
отыщем и хвостик
селедки,
глядишь —

и уж ты посередке
простых человечьих тревог.
И главное ведь,
что при этом,
сочувствуя всем наугад,
не надо укутывать пледом
худые колени
и зад,
искать у друзей соучастья,
сжав руки на впалой
груди...

Ведь стал бы я
символом
счастья,
что их еще ждет
впереди!
Окинув мои интерьеры,
друзья бы спешили
решить:
— В такой-то
модерной квартире
еще б в Магадане
не жить!..
И мы бы шутили,
смеялись
и грелись бы мы
наяву...

Но я, к сожаленью,
покамест
в квартире такой
не живу.

И въеду ли вскоре —
не знаю.
Да дело, как видно,
не в том.
А в том,
что вот я
вспоминаю
сегодня тот старенький
дом.
Тот грешный, слепой,
деревянный,
поверивший тихим словам...

Три месяца
в крохотной ванной
он верно меня
укрывал.
Не требуя честного слова,
задатком вперед
не грозя,
дом знал:
человека живого
на улице бросить
нельзя.
И знал он
то главное средство:
какой бы я
ни Имярек,—
единственно ванной
согреться
не может
живой
человек.

А значит,
нужна ему дружба,
духовное нужно
родство...

Как видите,
хилый наружно,
мой дом изнутри —
ничего!
Не зря
через шквалы и вьюги
и сквозь
транссибирский мороз
пронес он
заботу о друге,
заботу о людях
пронес.
Менялись эпохи
и стили,
цвет верности лишь
не линял...

Но срок,
что ему отводили,
уже он, считай,
отстоял.
И давит на сердце
стотонно
сознание личной вины,
что дни
деревянного дома
железно уже
сочтены.

Еще бы взрастил он кого-то,
но, скрепками сколот и сшит,
в проектах
ближайшего года
он слому уже
подлежит.
И в эту последнюю осень
еще он не знает,
что вот
с иголочки новый
бульдозер
с конвейера завтра
сойдет.
И лязгая новенькой
сталью
(единственно
чем знаменит!),
франтово подкатит
к составу
и стекла вперед
устремит.
«На Север!» —
заплещется надпись
на дверце.
(О, первая лесть!..)

А домику
зимнюю напасть
еще предстоит
перенесть.
Еще предстоит
добороться
за добрую славу свою

на дне
ледяного колодца
в суровом и стылом
краю...

4.

«Есть дом посреди Магадана!..»
О, радостно мне
сознавать:
Прошедшему Времени
рано
над нами
торжествовать.
Оно еще в будущем где-то,
хотя и назрело
вполне...

Потоком неяркого света
закат серебрится
в окне.
И смотрит в окошко
Оляшка,
бесхитростный
человек,
на то, как уходит
бесстрашно
его затихающий свет.

— Гляди,
он совсем затухает.
Ты видишь? —
его уже нет...

— И что же? —
Оляха вздыхает.
А завтра наступит
рассвет...
И большее Ольгу
не мучит.
«Наступит»,
и только всего...

Заката щекочущий
лучик
у сердца щемит
моего.
Не знаю,
смеюсь или плачу,
ору ли кому
наугад:
— А вдруг я во времени
значу
не больше,
чем этот закат!
А вдруг меня тоже
низложат
в преддверии нового дня
и выведут завтра,
как лошадь
из штрека,
ни в чем не виня.
Но как они справятся
сами?!

...А время идет
и идет

и в гуле текущих работ
не слышит моих
восклицаний.
Лишь эхом далекого грома
в ответ мне
вздыхают друзья:
— Увы,
биография дома —
и наша судьба,
и твоя.
Так все мы не более стоим,
как много порою ни мним.
На опыте прошлого
строим —
о личном геройстве гремим.
Но выльется молодость
в старость,
и счет подадут
не к словам...
Молись,
чтоб хоть свая
осталась,
сгодился бы хоть
котлован.
Чтоб в тучах строительной пыли,
приняв от тебя
провода,
другие дома
восходили
да люди б в них
счастливы были
и было бы это
всегда!..

ИЗ ЧУКОТСКИХ ПОЭТОВ



Антонина КЫМЫТВАЛЬ

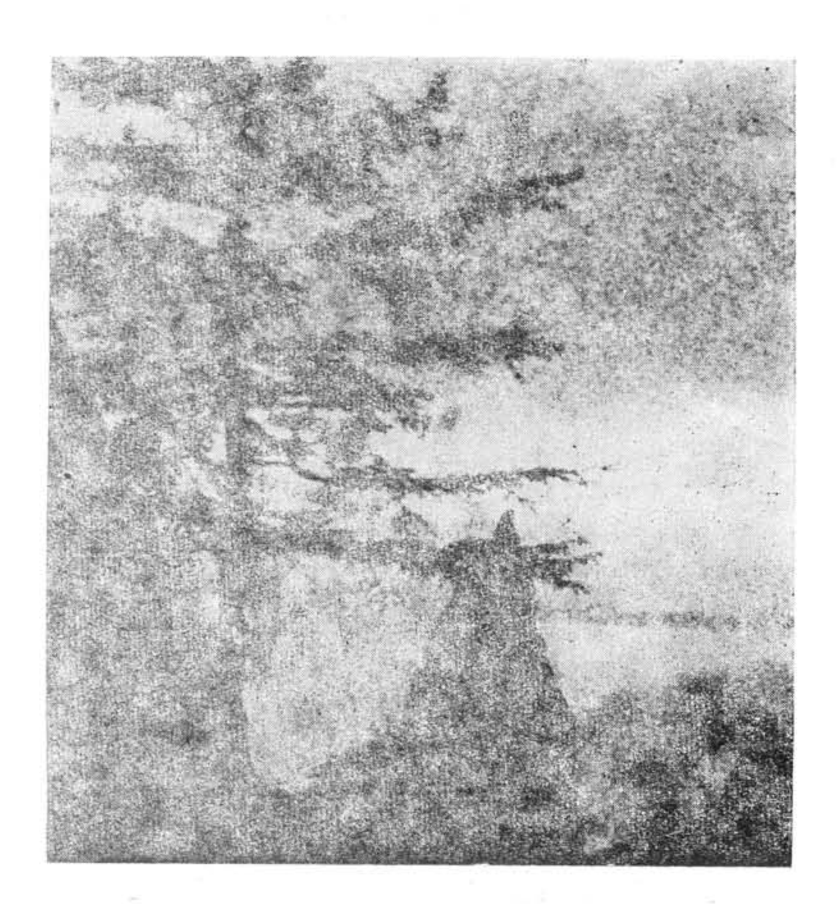
ЧАЙКА

Тревогой стекая
с обветренных скал,
крича и стеная
растерянно,
мечется чаячья
отчаянная тоска
вдоль опустевшего
берега.

По ком она плачет,
упав в синеву? —
Попробую
позову...

— Лети сюда, чаюшка,
лети ко мне.
Присядь
и поведай смело:
в какой стороне
и на чьем огне
сердечко твое
обгорело?

Сестра моя, птица,
не плачь,
не грусти.



Пусть песнею боль
забьется.
Ты потеряла друга в пути? —
Он скоро к тебе
вернется...

Но падает чайка
с крыла на крыло,
и вот уже около месяца
призывный голос ее
тяжело
между камнями
мечется.

Где друг пролагает
свои пути,
устанет когда
скитаться?..
Не просто будет
его найти,
еще тяжелей
дождаться.

Но не заламывай
крыльев-рук,
рано еще
отчаиваться.
Прилетит,
прилетит он —
твой милый друг.
На Чукотку
все
возвращаются...

ТЫ ОПЯТЬ МЕНЯ ЗОВЕШЬ

Ты опять меня зовешь
издалёка,
издалёка.
Если сон ты
или ложь,
то откуда же
тревога?

Что-то я не помню слов,
и лицо в тумане тает...
Но едва услышу зов,
как волненье
нарастает.

Кто ты:
радость или боль?..
Вспоминаю.
Дальний вечер.
Да,
    была у нас с тобой
та,
    единственная встреча.

Не припомню,
что стряслось
с головой тогда моею,—



я нескладностью своею
смущена была до слез.

Ты же,
        строен и красив
(как нежны твои ладони!..),
под ресницами носил
грусть
по ласке и любви.

Сердце билось
                вкривь
                        и вкось,
подступала к горлу смелость...
...Ты опять меня зовешь.
Я не знаю,
что мне делать.

Я не знаю, как нам быть
и к чему все эти письма!
Мне бы губ твоих испить,
мне бы глаз твоих
напиться,

мне б единственным глазком
(о, не выроню ни слова!)
хоть бы издали,
тайком
увидать тебя. Живого.



Ты улетел позавчера,
и я одна.
И вот —
лишь только Теплая гора
тебя
со мною ждет.

И каждый день
назло молве
всю боль души моей
в ее цветах,
в ее траве
я прячу от людей.

От их поспешного суда
и тягостной любви
я приношу к тебе сюда
грусталинки свои.

А дни идут,—
конца им нет
и края тоже нет.
И нету глаз твоих
и рук,
и —
    пустота вокруг.

И тишина.
И в той тиши
один-единый звук —
больной вопрос моей души:
— Ты где,
любимый друг?..

Ты улетел.
И вот темно
на сердце и в судьбе.
И мы с горою
заодно
тоскуем по тебе.

ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ

Нас познакомил белый снег.
Ты не забыл еще,
как о любви он
в тишине
шептал нам горячо?

Сегодня тоже тишина.
Но нет тебя, мой друг.
И на дворе уже весна.
И тает снег.
И так ясна
его немая грусть!

Мне даже больно
оттого,
что солнышко печет,
что тает снег...
Но ничего,—
прикрою варежкой его,
пусть он прихода твоего
со мною вместе
ждет.

Михаил ВАЛЬГИРГИН

О ЧЕМ ПОЮТ ПОЛОЗЬЯ

Тихо в тундре.
Утро. Снег.
Ни следа на свете —
значит,
я сегодня раньше всех
разбудил своих собачек.

Путь-дорога далека.
Даль тиха,
как на картинке.
Отряхают облака
с плеч пушистые снежинки.

Искры снега там и тут.
А вдоль берега,
под ручки
взяв друг друга,
как подружки,
горы к северу идут.

Жарко озеро блестит,
но мороз
колюч же, леший,—
отчего,



зайндевевший,
лед нисколько не скользит.

И полозья потому
недоверчиво и тонко
то ль поют по одному,
то ли шепчутся тихонько.

Не пойму:
устав идти,
с инеем они бранятся?
Или, стертые почти,
воспевают те пути,
что самим еще приснятся,
когда будут
позади?..

ХОРОШО РОДИТЬСЯ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ

Горячее сердце мое
к этой земле студеной,
как море к песчаному берегу,
намертво
прикипело.

Сменяются волны,—
мои года,
и тают,
как чайки в седом поднебесьи.

Старею ли я?
О, да!
Вот стану как тундра
и как вода.
Но пусть и умру я —
будут всегда
жить моей молодостью
мои
песни.

И верю я:
будут
дети мои горды
не только дарами
земли и воды.

Дорогами неба
навстречу грядущим векам
лететь-пролетать еще
юным моим землякам!

Какое великое счастье
родиться на этой земле,
откуда —
                до чуда
полшага. Откуда,
словно
        в оленном
                        разгоне,
завтрашний день человечества —
        как на ладони.

ПОПУТЧИКОМ — ВЕТЕР

Не слышно песен птичьих,
лишь с каждым днем сильней
выводит песни
ветер
над крышею моей.

Угомонились реки
под белою броней,
звенящие сугробы
нависли
надо мной.

Укрылась белой шкурой
вся тундра
до весны...
Сошью-ка я камлейку
из белой простыни!

И невидимкой стану,
по тундре
поброжу.
В песцовые капканы
приманку положу.

Лишь был бы верный ветер
со мной всегда в пути,

чтобы назад к порогу
без компаса
дорогу
легко я мог найти.

МЕДСЕСТРА

Больной был плох.
И чувствовал себя
день ото дня,
час от часу не лучше.
Болели ноги, руки, голова,
все тело от ломоты изнывало.
И он — стонал.

От боли по ночам
он глаз сомкнуть
не мог ни на минуту.
Лишь изредка,
и то все больше — днем,
недолгим сном
тревожно забывался.

Но как-то утром
к койке подошла
вся в белом. Молодая. Медсестрица.
Пришла и села.
За руку взяла
и ласково,
таинственно сказала:

— Больной, не надо
думать о плохом.

Твоя болезнь —
она тебя оставит.
Как снег весной, вот-вот она истает,
и ты от нас как новенький уйдешь!

Но только ты,
пожалуйста,—
                    лечись!
Лекарства не помогут без упрямства.
Ты знаешь,
за окном такая жизнь!
Врач говорит,
что умирать — не стоит...

Больной был плох.
Но вот сестра ушла,
и что-то в нем проснулось,
изменилось,
и в слабом теле
вера заискрилась,
окрепла
и осилила недуг.

И — вышел он.
А на дворе — весна
еще, как медсестра,— в халате белом,
но с небывалым солнцем:
в мире целом!
                    Над городом!
И в сердце. У него.

И он сказал:
— Спасибо, медсестра...

И понимал:
            так мало в этом слове!..
Ответила:
— Живите на здоровье...
                И он теперь
                действительно
                живет!

ЯРАР

Сколько лет этот бубен висит на стене?
Много. Ой, много!
Звук его из далекого детства мерещится мне:
— Бум, бум, бум!..

Музыку страха, музыку горя, музыку буден
в сердце мужчины опять воскрешает
заброшенный бубен.

Вот он
висит на стене
полон своих дум.

И сердце мое
оживает во мне:
— Бум,
бум,
бум!..

Помнишь ли, стойбище,
помните ль, скалы,
эту игру? —

Рокот —
то громкий,

то тихий и дробный
на грозном ветру?

Это — отец мой
ночью пуржливой,
сам —
старый, как ночь,

гонит из полога
вестников голода,
старость и грусть
прочь.

Это —
бродячий шаман
лечит мою сестру...
— Мама! Где наша сестра?..
...Нет ни сестры, ни мамы...

А это —
всё стойбище,
встав на колени,—
А́га-агА́-гА́ —
гонит Келе
от яранг и оленей,
и бубен гремит,
как пурга.

Противу духов
хвори, ненастья,
ради людских
дум

рад был он биться,
рад был стараться.
— Бум!
Бум!
Бум!..

Сколько лет нашим дедам служил — он забыл.
Сколько содрано шкур со спины — не заметил.
Все хотел быть помощником в жизни, а был
разве что — утешителем в смерти.

До свиданья, ярар! На почетной стене
ты — старей стариков, дослуживших до пенсии!
Слышишь? — Новая музыка в нашем селе
распевает иные, веселые песни!

ВИЖУ МОРСКУЮ ВОЛНУ

Как пляшет
волна морская
под дудочку ветра! —
Ох, пляшет!

Но чуть уляжется ветер,
тут же затихнет море,
словно затухнет.

И вот уже,
обессиленное,
лежит, как ленивый пастух, —
огромное море,
сильное море,
растерявшее стадо
волн.

И на его блаженство
глядя, подумал я:
— А что,
чтоб себя сберечь,
чтоб для себя у вечности
урвать хоть одну минутку,
может, не стоит плясать
ни под чью
дудку?

Может быть, надо
вот так же лечь
и лежать,
и не ждать никакого ветра,
и ощущать в себе
      только
      свой
      танец?..

ЧЕГО СЕЙЧАС Я ЖДУ?..

Чего я жду?
Куда спешу?
Зачем я время подгоняю?
Жду дня, когда
уйду туда,
где грусть и горе — не беда? —
        Не знаю.

И что так мучит разум мой
день ото дня
и год от года,
как бы пургу перед весной
угроза близкого ухода?

Но я,
родившийся в пургу,
обретший в тундре
жизнь большую,—
куда,
куда уйти могу?
        Куда
        спешу я?..

СОДЕРЖАНИЕ

Пчелкин А.

П 92 Свет снега. Стихотворения. Магадан, Кн. изд., 1972.

127 с. с илл. 10 000 экз.

Это третья книга молодого поэта. Автор пишет о людях нашего сурового края, об их делах и мечтах. Стихи отличаются проникновенной лиричностью, яркой поэтической индивидуальностью. В сборнике представлены и переводы стихов чукотских поэтов.

7—4—2
23—72 М

Р 2

Анатолий Александрович ПЧЕЛКИН

СВЕТ СНЕГА. Стихотворения.

Фотоиллюстрации В. Н. ШУМКОВА.

Редактор Л. И. ЮРЧЕНКО.
Художественный редактор Д. Д. Власенко.
Рисунки В. И. Кошелева.
Технический редактор В. В. Плоская.
Корректоры М. Л. Лисичкина, Г. А. Козеева.

Сдано в набор 15/II 1972 г. Подписано к печати 10/III 1972 г. АХ—00761. Формат 70×108/32. Бум. тип. № 1. Объем 4 физ. п. л., 5,6 усл. п. л., 4,39 уч.-изд. л. Тираж 10 000. Заказ 1811.
Цена 49 коп.

Магаданское книжное издательство, г. Магадан, ул. Пролетарская, 15.

Магаданская областная типография Управления по печати, г. Магадан, пл. Горького, 9.

ОПЕЧАТКА

На стр. 58 строку 10-ю сверху следует читать: «не открыва́ла лица».